
CURRICULUM: СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА

ШИЛЗ Э. ПРИЗВАНИЕ СОЦИОЛОГИИ. (Перевод с англ.)¹

Ключевые слова: социология; гуманитарные науки; гуманистическая ориентация; самопознание; восприимчивость; технологическая социология; манипуляция; консенсуальность; социальная критика; «оппозиционная наука»; традиция; авторитет; чувство прошлого; настоящее; со-временность.

Для цитирования: Шилз Э. Призвание социологии / пер. с англ. В.Г. Николаева // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2026. – № 2. – С. 113–156.

Перевод поступил: 28.01.2026.

Принят к публикации: 15.02.2026.

SHILS E. The calling of sociology. (Translated from English)

Keywords: sociology; humanities; humanistic orientation; self-knowledge; sensibility; technological sociology; manipulation; consensuality; social critique; “oppositional science”; tradition, authority; the sense of the past; the present; contemporaneity.

For citation: Shils E. The calling of sociology. Translated from English by V.G. Nikolaev. Social'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Seriya 11: Sociologiya [Social sciences and humanities. Domestic and foreign literature. Series 11: Sociology]. – 2026. – N 2. – P. 113–156.

Received: 28.01.2026.

Accepted: 15.02.2026.

¹ Продолжение, начало см. в предыдущем номере. Перевод сделан по источнику: Shils E. The calling of sociology // Theories of society: foundations of modern sociological theory / ed. by T. Parsons, E. Shils, K.D. Naegle, J.R. Pitts. – Glencoe: The Free press, 1961. – Vol. 2. – P. 1405–1448.

Социология и гуманитарное изучение человека

Отношения между социологами и теми, кто взял под свою опеку научное сохранение прошлого человека и его достижений в объективации символов, не были в прошлом ни дружественными, ни умными. Обычными чертами этих отношений были взаимное недоверие, умаление и избегание. Оборонительное невежество играло более значимую роль в порождении этого отношения, чем осознание процедур и объектов друг друга. Подлинное желание понять другую сторону было редкостью. Самая худшая ситуация в этом плане была в Америке, поскольку до самого недавнего времени только там социология была достаточно заметной, чтобы практики гуманитарных дисциплин обратили на нее внимание. В Европе упоминание социологии по большей части вызывало лишь равнодушное безразличие. Там социологи чаще обладали традиционным гуманитарным образованием, и в силу этого к ним относились с большей терпимостью. В Америке же социологи желали видеть себя учеными – т.е. практичными, «объективными» и скептическими к «интуиции» со свойственными ей оттенками изнеженности и мистицизма. Социологи обычно не питали симпатии к существующим религиозным институтам, у них не было развито религиозное воображение. И обычно они плохо знали историю.

Важное течение социологического мнения было «прогрессивным» и видело прошлое заблуждавшимся, суеверным и в любом случае мертвым. Социологов не очень интересовали традиции, разве что в негативном ключе, с акцентом на их крушении, в то время как в гуманитарных дисциплинах традиции во многом составляют фирменный стиль. «Прогрессивная» установка социологии по отношению к прошлому была усилена возросшей значимостью полевой работы, интервью с живыми людьми как основной социологической деятельностью; гуманитарная ученость вплоть до самого недавнего времени всячески чуралась современности. Социологи признали релевантность статистических процедур, которые гуманитарии ассоциируют с наукой и которые лишь немногие из гуманитариев применяют в своих исследованиях. Социологи мыслили гуманитариев как любителей древности, моралистов и эстетов по контрасту с собственными несентиментальными, оценочно нейтральными «я». К этим более интеллектуальным отличиям социологи добавляли и кое-какие другие. Они были грубоватыми в своем литературном стиле во времена, когда гуманитарные дисциплины еще не опустились до такого же уровня жаргона

и многословия. К тому же, чувствуя себя неполноценными, социологи агрессивно относились к дисциплинам, которые считали даже более беззащитными, чем свою собственную, перед критическими упреками в недостаточной научности. Отчасти враждебность социологов к гуманитарным академическим дисциплинам проистекала из насущных нужд социологии на определенном этапе ее карьеры. Отчасти же она проистекала из не самых восхитительных социальных и культурных качеств самих социологов.

Академические гуманитарии со своей стороны были ничуть не лучше. Они жаждали видеть социологию – со всей ее гордостью и поверхностным мирским успехом – униженной. Само равнодушие, если не враждебность, социологов к прошлому и его делам, невежество социологов в литературных и художественных высотах, с которыми бережно возились академические гуманитарии, были вызовом достоинству их дисциплин. Гуманитарии жили в атмосфере пыльных книг и ссылок на мудреные немецкие монографии, тогда как для многих социологов было редкостью прочесть книгу, изданную раньше, чем несколько лет назад. Книги не так часто рассматриваются ими как часть аппарата их науки, и гуманитарии преувеличивают это и чувствуют себя этим покоробленными. Вдобавок социология, несмотря на все ее несовершенства – вполне реальные, – самым очевидным образом процветала. Ее популяция росла, ее благополучие росло еще больше, в то время как гуманитарным дисциплинам приходилось уступать свое место и влияние. Гуманитарные факультеты университетов видели растущие доли студентов, обращающихся к естественным и социальным наукам. Социология привлекала многих студентов, которые в прошлом сосредоточили бы свое академическое внимание на английской литературе и истории. Социология стала основным выгодополучателем от перераспределения университетских фондов, тогда как гуманитарные факультеты переживали кое-какие потери. Средства из частных фондов и правительственных организаций хлынули потоком в социальные науки, тогда как гуманитарные дисциплины оказались в относительном пренебрежении. Хотя гуманитарные исследования не столь затратны, как научные, включая исследования в социальных науках, – все же привилегии, которыми пользовалась социология, сделали ее подходящей мишенью для обиды, особенно когда виделось очень много существенных оснований для отрицания легитимности ее интеллектуальных притязаний и финансовых радостей.

Нельзя сказать, что этот эпизод академической истории XX столетия добавляет кому-то чести. Язвительность и пустота этой дискуссии прятали от глаз подлинное родство и различие этих двух областей интеллектуальной работы. Есть реальные различия в деятельности социологов и гуманитариев. Они так и будут оставаться реальными различиями: техники гуманитарных исследований – такие как палеография, установление решающих изданий литературных текстов, установление подлинности рукописей, датирование художественных полотен с помощью химического анализа и установление возраста археологических находок с помощью радиоуглеродного анализа, расшифровка до сих пор неизвестных надписей, археологические раскопки, установление детальных биографических описаний индивидов, – вероятно, никогда не станут частью техник социологии.

Социологию интересует установление валидности наблюдений, но непосредственно наблюдаемые объекты сильно отличаются. Социологию в позднейшей ее фазе – с тех пор, как она пришла к убеждению, что ей нужно заниматься первичным наблюдением, – заботили живые люди. Гуманитарные же дисциплины черпают свои объекты из всего диапазона человеческой истории и даже предыстории. Опустим пока гораздо большее внимание гуманитарных дисциплин к объективациям творческих сил человека, которое делает более целесообразным расширение диапазона исторического интереса в прошлое. Технические пристрастия гуманитарных исследований соответствуют содержательному пристрастию к изучению конкретных индивидуальностей лиц и произведений.

Эта разница – почти историческая случайность. Условия, породившие социологию, были условиями, в которых было открыто существование «безымянных масс»; гуманитарные же дисциплины возникли из потока традиций, включавших практику агиографии и прославления величия. Хотя гуманистическое жизнеописание по большей части освободилось от бремени своих истоков, оно тем не менее было сконцентрировано на понимании тематической связности и внутреннего разнообразия карьеры и личности. Социологическую теорию занимают такие же по роду феномены в структуре жизни индивида.

Есть и другой аспект обсуждаемого различия, и он уже не является исторической случайностью, а фундаментален для социологии. Социология занимается классами индивидов, а не отдельным индивидом. Здесь кроется важное различие. Социологии

присуща абстрактность интереса, решимость увидеть отдельные события как случаи класса событий, как варианты или сочетания классов или как подклассы. Социологи проводят кейсовые исследования; но они делают это для того чтобы проиллюстрировать, как работают более общие классы переменных. Они собирают много кейсовых исследований, в каждом из которых воздается должное индивидуальной уникальности; но они делают это с намерением установить распределение индивидуальных вариаций и связи между несколькими распределениями¹.

Нет ничего в конституции социологии, что запрещало бы написание биографии некоего человека, живого или мертвого; и если бы социолог был литературно одарен, учен и эмпатичен, он мог бы написать книгу, во многом похожую на стандартную биографию. Но в той мере, в какой он оставался бы социологом, у него неизбежно проявилась бы склонность приводить общие положения для объяснения отдельных или повторяющихся событий в жизненной истории субъекта или ссылаться на отдельные события или их последовательности как на иллюстрации общих положений. На самом деле эта склонность скорее всего доминировала бы в работе в целом.

Фундаментальная диспозиция вдумчивого и сочувственного социологического биографа с необходимостью приблизилась бы на практике к ориентации, лежащей в основе теории действия и вырастающей из нее. Она была бы также схожа с диспозицией вдумчивого и сочувственного несоциологического биографа, за исключением того, что была бы несколько заметнее чувствитель-

¹ Это различие не следует трактовать как различие, создающее глубокую пропасть между социологией и гуманитарными дисциплинами. Гуманитарии работают с общими категориями, такими как пейзажная живопись, аллегория, натуралистические романы или эпические поэмы. Кроме того, вынесение суждения в отношении того или иного литературного произведения или произведения искусства заключает в себе – по-разному – использование общих категорий и стандартов и их применение посредством суждения к особым случаям. В этом отношении оно очень схоже с социологическим анализом. Более того, попытка социологии прогрессивно переводить свою ориентацию в артикулированную теорию и ее иногда и относительно большее самосознание при развертывании общих категорий не отличают ее от одной из величайших областей гуманитарных достижений, а именно от лингвистики. Ее ритмическое движение в сторону абстракции не является критерием, отграничивающим ее от философии, которая куда более самодостаточно абстрактна и реже входит в контакт с частным и конкретным.

ной к факторам, заключенным в социальной ситуации субъекта. Каждый из них должен был бы направляться общим для обоих воззрением – при условии, конечно, что оба реалистически эмпатичны. Тот факт, что биографа интересует отдельный человек – человек с именем и репутацией, обладающий явно выраженной, хотя и всегда несовершенной индивидуальностью, – не представляет фундаментального отхода от путей социологии. Индивидуальность, креативность, сила характера служат для социологического исследования в такой же мере подходящими темами и проблемами, как и для гуманитарного, – даже если социология обычно не выражает той же интенсивности интереса к биографическим частностям.

Социология, однако, нечасто берется за описание и объяснение индивидуальности одного отдельно взятого человека или за задачу дать каузальное объяснение его творческих достижений. Описание и каузальное объяснение действия и творчества отдельного индивида реже занимают – и, следовательно, с меньшей вероятностью образуют успех социолога¹.

Но, что куда важнее, социология не разделяет глубоко укорененной традиции оценивания и созерцания величия индивидуальной жизни или творчества, доминирующей в гуманитарных дисциплинах. Это традиция, которая с великой силой выживает, даже несмотря на то, что гуманитарные исследования часто далеки от совершенства и попадают в ловушку частной тривиальности, как в значительной части литературно-исторического знания, или отправляются в совсем другую сторону, в сторону научного обобщения, как в нынешней лингвистике.

¹ В той мере, в какой это все-таки случалось, социологи не были сколь угодно успешнее гуманитариев – скорее менее успешными. Общие социологические категории все еще слишком размыты и неустойчивы, и их объяснительные способности пока еще слишком неопределенны для того, чтобы социолог справился с этой задачей лучше, чем намного превосходящий его несоциологический биограф с уверенной хваткой. Даже если бы категории и гипотезы были лучше, чем они есть, задача перехода от общих категорий и положений к описанию и объяснению отдельного индивидуального события или к индивидуальной констелляции событий все еще требовала бы акта искусного суждения, который хорошая теоретическая ориентация может поддержать, но не может предоставить или внушить. Есть традиция жизнеописания, которую автор биографии должен принять, чтобы добиться успеха; социолог мог бы дополнить эту традицию, но не смог бы ее заменить или от нее избавиться.

У социологии тоже есть своя созерцательная, оценочная склонность. Ей доставляет наслаждение созерцать коллективные сущности, а не великую жизнь или великое произведение. Понятие «идеального типа» было отчасти продуктом этой оценочно-созерцательной склонности социологии. Оно предполагало построение «целого», образа некоторой коллективности или процесса – представляющего историческую эпоху либо трансисторического и свободного от всякой эпохальной партикулярности. Даже когда социология оставляет позади созерцательную оценку идеального типа и движется вперед, к научному обобщению, элемент созерцательного оценивания остается. Оцениваемым объектом, однако, оказывается процесс или пропозиция, отсылающая к процессу. Это нечто абстрактное, оторванное от конкретной индивидуальности. Оно могло бы вызвать такое же наслаждение, как и любая великая и истинная научная пропозиция о явлении, занимающем центральное место в природе мироздания; но созерцаемый объект здесь отличен от объекта, созерцаемого и оцениваемого гуманитарием. Это абстракция, общее правило или закон, а не конкретная частная констелляция событий или символов.

Созерцательное оценивание конкретных и частных действий, лиц или символических творений и познавательный интерес к установлению универсально валидных общих положений о коллективах не поделены между гуманитарными дисциплинами и социологией строго и взаимоисключающе. Каждая делает в какой-то мере то, что делает другая. Тем не менее здесь есть значительная разница в фокусировке внимания.

Есть и параллельные различия в техниках исследования, связанные с интересом либо к событиям прошлого, либо к недавним событиям и все еще живущим людям, а также с интересом либо к достоверному установлению частных деталей с целью выстраивания уникального целого, либо к достоверному установлению деталей с целью построения общего положения. Между гуманитарными дисциплинами и социологией есть и другое различие. Первые очень интересуются символическими объективациями творческих сил человека: языком, наукой, искусством, философией, религиозной верой, литературой. Социологию больше интересовали системы человеческого действия, сети, образуемые людьми в их действиях друг с другом и друг против друга. Разумеется, эта разделительная линия лишь аналитическая. История, политическая история, история религиозных и образовательных институтов и даже социальная история рассматриваются как относящиеся к гуманитарному

знанию; но они определенно связаны с сетями и структурой человеческих действий. Так же и биография. Со своей стороны социология – и особенно социология, вырастающая из традиций, изображенных и богато проиллюстрированных в этих томах, – включает культурную сферу как важный элемент в свой анализ действия. Ее интерес направляется больше на институциональную матрицу этих символических объективаций и на проникновение этих символических объективаций в действия и институты. Одно из самых впечатляющих последствий культивирования традиций социологического анализа, приводящих к теории действия, состоит в том, что культурные системы и институты, поддерживающие культурные системы и формируемые ими, выходили все больше и больше на авансцену внимания. Социологи, сложившиеся под вдохновляющим влиянием Макса Вебера и Эмиля Дюркгейма, посвящают все больше сил изучению достижений более конвенционально гуманитарных дисциплин – истории искусства, науки, литературы, религиозных верований и даже языка. Более того, они делают это не в рамках утилитарных и эволюционистских схем анализа, трактовавших предметы этих дисциплин как эпифеномены. Они уже не считают своей задачей «объяснение» религиозных идей или научных концепций как продуктов «производственных отношений», конфликта между классами и т.п. Теперь их задача – понять их (их конституцию и их функционирование) в рамках взаимопроникновения трехчастной системы культуры, личности и общества.

Нынешняя социологическая теория и ориентация, лежащая в ее основе и вырастающая из нее, вбирают в себя предмет гуманитарного знания; и они признают частичную автономию культурной сферы. Сегодня они более открыты к социологическому анализу институтов культурной сферы и их детерминации стандартами и внутренними потребностями различных систем культуры. Таким образом, признавая различия в техниках, намерениях и интересах, центральная традиция социологической теории, приходящая сегодня все больше к артикуляции, способствовала весьма значительному сближению с гуманитарными дисциплинами.

Объединение никогда не будет полным. Для этого нет никаких резонансов. Разные задачи требуют разных техник; разные интересы требуют разных логических структур. Содержательная специализация тоже будет стоять на пути полного объединения, и маловероятно, что она когда-нибудь будет полностью преодолена. Живучесть этих различий и этой специализации не влечет между

тем никакого неизбежного конфликта между социологией и гуманитарными дисциплинами, помимо того, который возникает из зависти, тщеславия и излишней людской обидчивости. Прогресс в построении теории в социологии продвинулся в наше время достаточно далеко, и защитный парохизм, характеризовавший социологию в начале века, достаточно смягчился, чтобы дать нам понять, что социология и гуманитарные дисциплины связаны нераздельными узами. Это – узы их общего предмета и разделяемая ими оценка человеческих качеств моральных, интеллектуальных и эстетических сил, составляющих человечность их предмета.

Конечно, в будущем сохранятся социологи, которые будут работать с людьми вне этих категорий, – так же как и гуманитарии, которые будут либо крайне специализированными либо крайне нетехничными и расположатся на границе человеческих качеств их предмета. Нашему вновь утвердившемуся осознанию гуманизма социологии это не повредит¹.

Социология гуманистична, поскольку пытается понять все, что делает человек, в категориях, признающих его человечность: его потребности в когнитивной ориентации; его способности к рациональному суждению и действию, к аффективной привязанности, к эстетическому выражению и реакции, к принятию моральных решений. Естественно, между социологами в этом отношении нет полного консенсуса. Есть социологи, отрицающие его или пренебрегающие им, так же как есть филологи, археологи и историки, теряющие из виду связи между объектами, которые они держат в руках или перед своим умственным взором, и человечность создателей, реципиентов и пользователей этих объектов. Великие традиции социологии гуманистичны; и общая социологическая теория, и та социологическая ориентация, которая репрезентирует нынешнюю фазу этих традиций, продолжают и делают более отчетливым их гуманизм. Бихевиоризм и экспериментализм, хотя не были лишены продолжателей и внесли ценный вклад в социологическую теорию и исследования, не вышли в центр социологии. То, что социология пытается точно наблюдать и с точностью выразить события, имеющие по своей сути неточные границы, не уменьшает сущностно гуманистическую ориентацию социологии. То, что социология часто и во все большей степени является количествен-

¹ Проблема эта относительно нова. Она продукт академических факультетов и борьбы за академическое существование. Для героических фигур социологической традиции ее не существовало.

ной, не уменьшает ее гуманистический компонент – необходимо вытекающий из той задачи, за которую она берется, – так же как и то, что она стремится с растущей частотой, но все же относительно редко, выразить свои теоретические построения в математической форме. К какой бы высушенной риторике социология ни пришла, по мере того как и если она станет более математической, эта риторика не изменит природу переменных, с которыми социология работает, и понятий, которые к ним отсылают. Человека нет нужды сводить к биологическому организму или к электронному механизму, чтобы описать регулярности его действия математически. Попытки социологии прийти в своих положениях к четким законам лишают ее этого статуса не больше, чем регулярности лингвистики или единообразия, замечаемые сравнительным религиоведением, лишают их статуса гуманитарных дисциплин.

Гуманистическая ориентация – не функция такого занятия, как чтение книг, содержащих романы, стихи или философские идеи. Это не книжность. Гуманистическая ориентация не связана непременно с пристрастием к прошлому или с избеганием строгих аналитических процедур; она не требует литературных компиляций и необузданного импрессионизма. Эти качества в отдельности или в комбинации обнаруживаются как на социологических, так и на гуманитарных факультетах; и они не являются ни решающими, ни конститутивными для природы интеллектуальных дисциплин, в которых они обнаруживаются.

Некоторые философско-антропологические замечания

[А] Самопознание человека: расширение традиции самопознания¹

Социологический анализ – это продолжение в современной идиоме великих попыток человеческого разума вынести суждение о превратностях человека на земле. Он происходит из устремления, в конечном счете столь же глубокого, хотя и не столь далеко идущего, что и теология. Агностичный в теологическом смысле, он скромнее в своих намерениях, чем грандиозный сплав эсхатологии и диагноза современности, пришедший к нам под именем

¹ Для удобства ориентации в тексте для заголовков этого уровня добавлены буквенные обозначения. В оригинале у Шилза буквой обозначен только пункт *D*; в остальных случаях, где буквенные обозначения были добавлены нами, они заключены в квадратные скобки. – *Прим. пер.*

философии истории. Он не стремится выйти за границы исторического времени. С другой стороны, социологическая теория не была бы верна своей традиции, своим задачам и своим возможностям, если бы ограничила себя диагнозом современной ситуации. Социология и диагноз нашего времени, когда они сделаны достойно, очень близки друг другу. При этом они не идентичны. Социология гораздо шире, поскольку пытается выйти за рамки той роли *laudator temporis acti*¹, которую традиция сделала едва ли не неизбежной отправной точкой для анализа настоящего. Социология страдала от концептуальных ограничений, проистекающих из поглощенности своим обществом и своей эпохой. Несмотря на этот временной и территориальный партикуляризм, ее устремления всегда шире. «Этноцентризм» – ругательное слово среди социологов; быть «ограниченным культурой» означает быть неполноценным. Доминирующая социологическая теория нашего столетия попыталась выйти за пределы локального и периодичного и войти в более трансисторический слой бытия.

Разве не это же пытались сделать моральные философы? Являются ли слова оракула «познай самого себя» рекомендацией понять собственное «я» как особый узел мотивов и способностей, живущий в греческом полисе; или это повеление тем, кто прочтет их, понять себя как людей? Размышления Цицерона о дружбе вполне могли быть недостаточно всеобъемлющими или слишком сфокусированными на требованиях и слабостях дружбы в Риме, где опасности жизни в умирающей Республике оказывали сильное давление на верность и привязанность. Однако говорить только о своей эпохе и стране не входило в его намерения; он пытался говорить о человеке, и если ему это не удалось, то это больше результат ограниченности его познаний, чем узости его намерений.

Ситуация социологии во многом схожа. Даже социологическая теория, ограничивающая себя средними принципами, сознает возможность более общих принципов, менее ограниченных в историческом и территориальном диапазоне их валидности. Она рекомендует средние принципы, поскольку еще не чувствует себя готовой взобраться на более величественные вершины транслोकальной, транспериодической общности. Эта более ограничивающая себя теория, как и более абстрактная общая теория, ценит устремленность социологии к достижению связного видения

¹ «Хвалителя былых времен» (лат.). Фраза из «Науки поэзии» Горация. – Прим. пер.

человеческой природы, смысла общества, заданного природой человека и требованиями сосуществования, и тех трансформаций, которые они могут претерпевать в рамках ограниченных возможностей, познанных до сих пор в ходе эволюции и истории.

Социология – продолжение и разработка постоянной и необходимой попытки человека понять самого себя и свой вид. Она выходит за рамки того, что делали классические моралисты, поскольку направляет усилия самопознания не только на прежнюю задачу индивидуального самопознания, но и на трансиндивидуальную, трансисторическую сеть.

Социология – это обращение к задаче понимания человека как коллективного существа, т.е. способностей человека, превращающих его в политическое животное, и той сети человеческих действий и творений, которая связывает настоящее и прошлое, а также рассеянное в пространстве в реальность столь же реальную, как и конкретное индивидуальное биологическое существование. Социология пытается облечь результаты и процедуры этого коллективного самопознания в форму науки. В той мере, в какой она наука – а в настоящее время она не очень-то уж ею является, – она отличается от наук о внешнем мире и от значительной части биологических наук не только в том смысле, что ее предмет отличен от их предметов и человекен, но также в том смысле, что она взяла на себя задачу, отличную от задачи таких естественных наук, как физика, химия и даже биология. Она – часть обширного неорганизованного коллективного усилия человеческого разума понять себя как коллективность. Чтобы понять себя, ему нужно знать искушения, которым он поддается, заслоны, которые он может возводить против искушений, источники своей слабости и силы, своих импульсов и своих дисциплин. У него есть все основания быть научным, насколько это возможно.

Социологическое самопознание – разрабатывающее старые традиции, неслучайные в жизни нашего вида, – не встраивается в единую непрерывную традицию, идущую от классической этической философии к гуманизму эпохи Возрождения и французским моралистам, от Монтеня до Токвиля. Она ими вдохновлена, но источники ее более разнородны. Так, она получила мощный импульс от дарвинизма, а в будущем будет черпать многое из неврологии и теории сервомеханизмов. Тем не менее само устройство импульса, рождающего социологические усилия, требует приверженности базовой задаче самопонимания человека как организма с моральными и рациональными склонностями.

Социология входит в бесконечный поток попыток человека оценить самого себя в той точке, где этот поток расширился и несколько изменил свой курс. Социология традиционно агностична; даже в лучшем своем виде она действует с религиозной стороны сдержанно. Благодаря этой уклончивой установке в отношении реальности связи между божеством и человеком она отвергает некоторые традиционные течения в самопонимании человека. Но если не брать этот отказ, она вобрала основное содержание традиционного самопознания, добавив к нему знание животного в человеке. Она невероятно обогатила и усложнила наследие, сделав его открытым для дарвиновских привнесений и впитав в себя общие линии психоаналитического толкования, которое само есть сплав классической и дарвиновской традиций.

Благодаря своей восприимчивости к гегелевскому варианту идеализма она колоссально расширила свой охват. Именно это сделало самопознание человека социологическим. Традиционное самопознание видело человека как случай некой категории, а не как узел в сети. В той степени, в какой оно видело человека как члена коллектива, оно видело в нем бенефициара выгод и жертву недостатков членства. Общество еще не вполне вошло в картину объектов самопознания. Социология частично закрыла разрыв, оставленный Аристотелем между «Этикой» и «Политикой». Было вполне естественно, что она должна была это сделать, поскольку в эпоху, в которую она расцвела, способности человека к консенсусу выросли соразмерно его индивидуальности. С этим ростом проблемы самопознания усложнились и углубились.

Стремления и волнения коллективного человечества; накопление, передача, усвоение и трансформация плодов и побочных продуктов этих движений, превосходящих поколения и локальности; осажение множеств индивидуальных действий в определяемые социальные системы – все это стало неотъемлемой частью нашей концепции человека. Человек – не просто организм, замкнутый в кожную оболочку. И он не просто ум и моральная способность, оформившиеся в виде индивидуальности. Он также сущность, выходящая за границы кожи и персоны; он – система таких организмов в пространстве и во времени. У него есть память, и у него есть способность вбирать образы других в открытое «я». Они образуют сущность, выходящую за пределы индивидуального жизненного диапазона и за пределы опытов отдельных индивидов. Наблюдения, конкретные и частные, абстрактные и общие, чело-

века в этом более широком поле обзора и есть то, что добавляет социология в традиционное самопознание человека.

**[В] Самопознание человека:
самоконтроль и технологическая социология**

Социология – не просто традиционное самопознание человека, расширенное современной восприимчивостью. Она также причастна к современному научному движению и пытается соответственно действовать.

Дисциплинированное, отстраненное наблюдение, эмансипация от предрассудков, интеллектуальный контроль над произволом в суждениях, желание дать обобщенную картину мира, постулат регулярности в череде событий – все это части конституции научного сообщества; и благодаря принятию этих правил социология становится одним из владений в этом сообществе. Но научное сообщество – федеральная система. Не всем интеллектуальным владениям нужно строго и абсолютно придерживаться одних и тех же правил. Они могут варьировать свое поведение в рамках конституции этого сообщества сообразно собственным традициям и задачам, которые эти традиции ставят.

Есть одна черта в более специализированных конституциях некоторых других владений, которую социология не может с ними разделить, хотя внутри нее есть партии, утверждающие, что это правильная политика. Это технологическое устремление, которое поставило бы социологию на службу так, как знание генетики поставлено на службу в разведении животных и растений, химическое знание – в промышленности, а физиология и фармакология – в практике медицинской профессии. Контовская максима «*Savoir pour grévoir pour rouvoigr*»¹ черпала свое вдохновение из традиции, по крайней мере такой же старой, как Фрэнсис Бэкон; и она не исчерпала себя с Огюстом Контом. С тех пор она продолжала быть частью платформы социологии – хотя в ней по большей части очень мало предсказаний и еще меньше предвидения. Социологии так и не удалось стать технологической дисциплиной. Это обусловлено не только тем, что она не продвинулась достаточно в научном смысле – хотя это важный фактор, – но и тем, что она по самой своей сути никогда не может стать такой же наукой, как науки о мире, внешнем для человека, или как науки, занимающие-

¹ «Знать, чтобы предвидеть, и предвидеть, чтобы мочь» (фр.). – Прим. пер.

ся физическим, или биологическим организмом человека. Традиция, в которой она работает, сама природа этого предприятия, социологическое воззрение, возникающее в ходе теоретической разработки этой теории, – все это плохо приспособливает социологию к технологическому применению. Быть технологической значит быть манипулятивной; это значит трактовать контролируемые события как не имеющие никакого сродства с манипулятором, как неспособные к вынесению рациональных суждений или к обладанию надежным эмпирическим знанием и его вычленению.

Конкретные эмпирические исследования описательного рода могут, конечно, служить тому, чтобы сделать более точным и дифференцированным знание, с которым люди, облеченные властью, подходят к своим задачам принятия решений и управления. На этом уровне проблемы манипуляции еще не существуют – или, по крайней мере, потенциальный вклад социологии в более эффективную манипуляцию еще не виден. Когда социология восходит от конкретного описания к более общей теории, концепция человеческого действия, либо подавляемая, либо имеющая периферийное значение в описательном изображении, гораздо более зримо выступает на первый план. Технологичность влечет за собой принятие механистической, конвенционально бихевиористской концепции человека как неспособного к валидному рассуждению, выбору, направляемому стандартами, и отклику на убеждение, превосходящему побуждение в простой модели «стимул – реакция». Социологическая теория не может достичь никакого серьезного прогресса в этом направлении; хотя она и приобрела многое от прошлого усвоения важных черт бихевиористской традиции и приобретет от усвоения знания о мыслительном процессе из компьютерных исследований, она вряд ли будет вынуждена отвергнуть свою центральную концепцию действия в пользу более механистической модели, не допускающей умственного, морального и эстетического творчества. Не только великие интеллектуальные традиции, влившиеся в формирование социологии, но и непосредственные нужды сегодняшних социологических исследований, сама необходимость воздать по справедливости предмету требуют той или иной формы теории действия. Любая частная форма этой теории будет с необходимостью претерпевать непрерывный пересмотр, и шаг за шагом все, что она представляет собой сегодня, будет модифицироваться. Общая концепция человека, лежащая в ее основании, при этом сохранится.

Итак, эта теория – самопознание в том смысле, что включает сам акт построения теории в свои данные. Ее категории для описания природы человека должны включать способность к построению теории о человеке и обществе. Само это служит признанием неразрывности между теоретиком и предметным содержанием теории. Это построение признает в рациональном самосознании рациональные способности человека (даже если не наделяет их монополией или обращает внимание на их ограниченность). Оно признает потребность человека в когнитивном порядке в мире, который больше, чем инструмент биологической адаптации. Теория действия видит себя как часть того, что она старается понять. Таким образом, социологическая теория не просто теория вроде любой другой; это социальная связь между теоретиком и предметом его теории. Это связь, формируемая чувством сродства.

Социологическая теория, вырастающая из теории действия, всего лишь более передовая часть широко рассеянной консенсусальной коллективности. Ее когнитивная разработка определенно богаче и глубже, чем обыкновенная восприимчивость обычного мыслящего, образованного человека; ее охват шире; она более артикулирована. Но она развивается из той же матрицы и в ходе своей разработки не отказывается от своих истоков.

Социологическая теория, интерпретирующая саму себя, соотносится с практикой коллективного самоконтроля. Технологическим соответствием социологической теории является не манипуляция другими, а прояснение и дисциплина «я», индивидуального и коллективного. Конечно, невозможно приветствовать или практиковать манипуляцию, утверждая в то же время приверженность теории действия. Можно, правда, указать на части теории действия, которые можно толковать как вписывающиеся в схему, лежащую в основе манипулятивной связи; такова, например, парадигма взаимодействия, утверждающая зависимость реакции от предвосхищаемого вознаграждения. Но будет насилием над теорией в целом вырывание этой парадигмы из ее контекста паттернов выбора и категорий ориентации. Во всяком случае, она совершенно определенно не согласна с теми, кто сватает ей манипулятивную связь с субъектами теории – как это делает, например, конвенциональная бихевиористская теория.

Манипуляция влечет за собой восприятие объекта манипуляции как дискретной сущности, не имеющей с манипулятором никакой социальной связи, кроме самих манипулятивных действий. Она исключает восприятие манипулирующей персоны объек-

том и тем самым отрицает встроенную в теорию действия взаимность. Это не значит, что для теории действия манипулятивные действия немыслимы – еще как мыслимы. Но это значит, что манипулятивные действия предполагают подавление некоторых черт связи между манипулятором и манипулируемым, основополагающих для теории действия, а именно тождеств теоретика и субъекта теории.

При этом социологическая теория действия – не чисто когнитивный продукт, никак не сказывающийся на действии. Она может влиять и влияет на действие; но она делает это через процесс прояснения, модифицирующий диспозицию актора, который ее разделяет. Чтобы она была действенной, необходимо делиться ее прозрениями с теми, на кого она должна повлиять. Понимание социальной системы, которое она передает, повышая осознание связывающего единства (и разделяющей дискретности!), будет при его «приложении» работать через *коллективные* самотрансформации. Речь идет о самотрансформациях, решения о которых принимаются консенсуально, путем молчаливого понимания и путем обсуждения; и адаптации взаимных действий индивидов в них осуществляются в контексте воспринятого родства.

Маловероятно, что в обозримом будущем человечество совершенно избавится от применения силы во внутренней жизни своих обществ; также маловероятно, что из отношений взрослых исчезнут обман и манипуляция. Последние становятся даже более вероятными, так как современное знание фармакологии и коммуникации делает их легче осуществимыми. Теории действия в интеллектуальном отношении необходимо постичь эти обманные и манипулятивные действия и найти им место в своей схеме действия. Но даже если теория действия находит место в своей аналитической схеме этим элементам, она сама по себе – ни в лежащей в основе нее диспозиции, ни как всеобъемлющая теория – не дает их легитимации или мотивации к ним. Научное обоснование манипулятивных действий может вытекать только из искаженного или, скорее, частичного применения социологической теории действия.

Как на уровне относительно конкретных средних принципов, так и на уровне более абстрактного анализа социологическая теория действия не есть дисциплина, пригодная к практическому применению; она неспособна стать технологической наукой. Это не дисциплина, положения которой, будучи артикулированными, могут быть просто переформулированы из вида «Если при условиях a , b и c D меняется на D_1 , то E изменится на E_1 » в форму «Если

a, *b* и *c* существуют и мы желаем произвести E_1 из *E*, то мы должны изменить *D* на D_1 ». Технологические положения в этой последней форме исходят из того, что *мы* и *D* принадлежим к разным классам событий. Социология, базирующаяся на теории действия, напротив, утверждает, что связи между *нами* и *D* в равной мере принадлежат к тому же классу, что и связи между *A*, *B*, *C*, *D*, *E* и т.д. Связь между *D* и *нами*, следовательно, должна быть, как минимум в какой-то мере, консенсуальной связью. Она может содержать также силовые или манипулятивные элементы, хотя, вероятно, не исключая при этом консенсуальный элемент. Во всяком случае, значительная часть связи, которую мы берем для трансформации нашей коллективной ситуации, будет такой, что консенсуальный элемент в ней будет очень весомым.

Утверждение нетехнологического характера социологического знания, пропитанного воззрением теории действия, не означает, что такое знание неспособно внести вклад в улучшение условий человеческого существования и повышение эффективности управления практическими людскими делами. Позитивистская и инструменталистско-прагматистская традиции, рулившие мнением социологов, создали видимость того, что технологическое применение социологии, как и технологическое применение физических и биологических наук, незаменимо для ее вклада в благополучие людей¹. Этот взгляд, вероятно, не всецело неверен: несомненно, существуют человеческие ситуации, которые можно улучшить только манипуляцией или с которыми можно справиться только применением силы; и научное совершенствование социологии вполне могло бы сделать эти действия более эффективными. Но технологическое применение социологии, если даже оставить в стороне его искажения и частичность, вряд ли может претендовать на пригодность для демократического либерального общества, которое уважает достоинство индивидуального существования. Социология превратилась бы в моральное чудище, если после достойного и даже благородного детства развилась бы в пору своей

¹ Даже в кругу тех, кто исходил из этой отправной точки, исходно манипулятивная инструменталистская точка зрения все больше и больше подталкивалась когнитивными и моральными императивами к более консенсуальной практике — если уж не к более самосознательному признанию теоретических импликаций этой практики. Я говорю здесь о социологической теории и практике, вытекающей из работы Курта Левина.

зрелости в инструмент технократов для управления человеческим родом – якобы для его же пользы.

Опасность эта невелика. Прежде всего, социологическое знание в наше время находится не в том состоянии, чтобы его можно было технологически применить. Еще важнее то, что суть нарождающегося социологического воззрения враждебна технологической ориентации, а переменные, которые его занимают, противятся манипулированию. Его благоденствия, добавок к достоинству, заключенному в любом познавательном достижении, придут через просвещение мнения, выражаясь в продолжении коллективного самопознания и в той самотрансформации, которую это лучшее понимание собственного «я» может произвести.

[C] *Социология и критика общества*

Социология – не нормативная наука, согласно имеющему смысл, но упрощенному взгляду, проводящему различие между «нормой» и «фактом». И все же у нее есть серьезнейшие этические – и вместе с тем политические – импликации, вытекающие из конструирования ею элементов человеческого действия. Существование человека как морального и разумного существа – факт иного порядка, чем существование его как биологической сущности. Наше восприятие этих свойств в нем возможно только через органы, заключающие в себе наши моральные и рассудочные способности. Эти качества, которые мы воспринимаем в человеке, взывают к схожим качествам в нас самих и требуют признания средства, имеющего этические и политические смыслы. Социология в силу традиций, лежащих в ее истоках, тоже обладает этическими и политическими диспозициями.

Именно плоды некоторых традиций социологической теории, сливаясь с растущей человечностью нашей все-таки очень гнетущей эпохи, приводят к ослабеванию отчуждения, долго характеризовавшего социологию.

Не все традиции, из которых вырастает теория действия, в равной мере ориентированы на консенсуальную позицию нынешней теории. Мощный порыв, заданный Гоббсом, и родившийся из этого утилитаризм содержали отчуждающую тенденцию, которую умеренные политические взгляды его приверженцев в XIX в. так и не искоренили. Дюркгейм тоже не преодолел полностью такие элементы в своем наследии, доставшемся от Сен-Симона и Конта. Многие годы социология виделась ее приверженцами как нечто

внешнее для существующего социального порядка и по необходимости с ним расходящееся. Социология мыслила себя как по необходимости несогласный фактор в обществе; ее наблюдения подчеркивали процессы несогласия, и она выражала в отношении них суровое неодобрение.

Некоторые социологи до сих пор гордо хвастаются, что социология – оппозиционная наука. Кое-кто из тех, кто черпает гордость в оппозиционном характере социологии, – бывшие марксисты или квазимарксисты; не сохраняя преданности марксизму, они желают тем не менее сохранить его изначальную диспозицию.

Однако не только марксистское влияние в социологическом анализе поддерживало эту отчужденную установку. Последняя пришла в социологию гораздо раньше, чем состоялись ее первые контакты с марксизмом. Марксизм и немецкая социология конца XIX в. пили из источников вдохновения, предоставленных немецким романтизмом и радикальной гегельянской версией отчуждения. Рационализм и сциентизм, от Бэкона до Декарта, хотя не оказали на социологию существенного влияния, помогли в создании до сих пор преобладающей социологической культуры.

Первоначальная связь социологических исследований с бедностью и нищетой оставила осадок, сохранявшийся еще долго после того, как эти предметы перестали занимать социологию в первую очередь. Сфокусировав поначалу внимание на нищих, бездомных, беспризорных, оскорбленных и униженных, социологи позже обобщили это особое состояние и выдвинули его как представительное для всего современного общества. Хотя предмет социологии расширялся и даже уходил от бедных в другие части общества и к иным проблемам, нежели описание бедности и сопутствующих ей тягот, изначальная концепция оставалась более или менее нетронутой. Великий расцвет эмпирических исследований произошел в Америке в 1930-е годы, во время Великой депрессии и во времена пробудившегося среди американских социологов интереса к марксизму, психоанализу и немецкой социологии. Лишь немногие из исследователей этого периода пережили все эти влияния одновременно, и мало кто испытал их напрямую; но они пропитали собой интеллектуальную атмосферу, и невозможно было их избежать. Они повысили изощренность американской социальной науки; но они также подняли на более абстрактный уровень ориентацию, которая, по крайней мере в городских социологических исследованиях, уже вполне прижилась, хотя и в менее зрелой форме. Великий расцвет эмпирических исследований во второй

половине 1930-х годов – в промышленной социологии, в изучении расовых отношений, в интересе к массовым коммуникациям и во внедрении психоаналитических концепций – дифференцировал, но в иных отношениях не изменил базовую установку в отношении нынешнего общества.

Движение в сторону теории, сопровождавшее данное оживление в эмпирических исследованиях, не испытывало трудностей с приданием этой «оппозиционной» науке более проработанного выражения. Вышедшая на авансцену теория по большей части задавалась «средними принципами». Она не стремилась достичь уровня абстракции и размаха социологической теории действия, и в силу этого фундаментальные расхождения двух ориентаций в социологии не дошли до полной конфронтации.

Многочисленные исследования в сферах промышленной социологии, массовых коммуникаций, преступности и делинквентности, образовательных институтов, элит, городских сообществ, подростков и пожилых ведутся в радикально иконоборческом настроении. Это иконоборчество – не просто реалистическое развенчание ошибочных взглядов; оно почти всегда направлено против власти. В нем часто содержится тональность, сводящаяся к тому, что люди, облеченные властью, действовали неправильно – из-за некомпетентности, слепоты или пренебрежения к общему благу. Зачастую это не результат личной установки; это продукт постановки проблемы и задания некоторого набора тем как подходящих для исследования. Власть традиции, в которой работают социологи, довлеет над их не особо сильными и неясно определенными моральными и интеллектуальными импульсами.

Результат – воззрение, радикально не доверяющее унаследованному порядку общества. В этом воззрении много такого, за что его с моральной стороны можно рекомендовать, и на его счету много интеллектуальных достижений. Тем не менее оно интеллектуально ущербно и не выдержит сопоставления с опытом или систематической теоретической рефлексией. Общество не просто «скопление атомизированных индивидов»; буржуазное общество не «свело семейные отношения к всего лишь денежной связи». Нынешнее общество не состоит из анонимных лиц в толпе; политическая жизнь – не просто сцена, на которой своекорыстные группы давления детерминируют каждую политическую программу действий. И все же этим представлениям многие социологи до недавних пор верили, а многие верят до сих пор. В той мере, в какой они отбросили эту веру, они сделали это под давлением более

широкого опыта и теории действия, подорвавшим наиболее экстремальные утилитарные и романтические посылки этой отчужденной социологии. Немалая часть сопротивления против теории действия исходит от этой упорно отчужденной социологии, твердящей, что теория действия тщится увидеть консенсус там, где есть только согласование интересов или равновесие принуждающих сил. Вдобавок социологическая теория действия нагружена неоправданной привязанностью к статус-кво и консерватизмом, который отрицает реальность революционного социального изменения, так как ему этически и политически несимпатично подобное изменение.

Критика отчужденного воззрения значительной части социологической работы последних лет с позиций теории действия базируется не на политических основаниях. Первоочередная причина критики оппозиционной концепции и оппозиционного воззрения состоит в том, что они предлагают искаженную картину нынешнего общества и общества вообще. Они слишком переоценивают степень преобладания в обществе Гоббсова естественного состояния; соответственно, они переоценивают роль обмана, манипуляции и принуждения, а также степень умышленного согласования элитами действий против остального общества. Не то чтобы эти наблюдения были совершенно безосновательными; но они не заслуживают того преобладания, которое придает им «оппозиционная наука».

Есть и другая причина для отказа от этой позиции. Поскольку она не всецело созерцательна, она манипулятивна, так как не признает возможность консенсуальной модификации поведения через самоконтроль. При этом она не обречена на манипулятивную установку своей аналитической схемой. Последняя слишком редко бывает достаточно хорошо проработанной, чтобы навязать такую приверженность, и часто заключенные в ней наклонности ведут в сторону теории действия. Манипулятивная ориентация – продукт политической и этической установки, мало связанной с фундаментальной социологической ориентацией.

Аргумент в пользу отчужденной позиции, если не брать утверждение о правильности приносимых ей результатов, двояк. Во-первых, заявляют, что это самая плодотворная точка отсчета для понимания общества; во-вторых, заявляют, что основная и неизбежная функция социологии – быть критиком своего общества. На первом доводе нам нет нужды задерживать здесь свое внимание. Второй довод более значим для нашего рассмотрения призвания

социологии. Можно допустить его правильность и все же отрицать, что критическая установка с необходимостью влечет за собой тот род критики, который в прошедшее столетие имплицитно и эксплицитно с этой позицией в социологии ассоциировался.

Если теория действия способна к интеграции с одними этическими позициями, а не с другими, то логично предположить, что она также допускает спектр альтернативных точек зрения, с которых можно было бы критиковать работу любого отдельного общества. Если социологическая теория действия – это акт самопознания, то она несет с собой возможность самокритики, индивидуальной и коллективной. Ни в каком случае она не дает ни единственного основания критики, ни единственной непреложной точки отсчета. Она просто оставляет открытой саму возможность. Более того, если под «критикой» имеется в виду рациональная критика, которая намерена быть эффективной через обращение к когнитивным и рассудочным способностям тех, кому она адресована, то можно сказать, что только теория, имеющая много общего с теорией действия, находится в том положении, чтобы критиковать. В противном случае критика неизбежно примет форму манипуляции, подрывной деятельности и т.д.

ЗАМЕЧАНИЕ О МАРКСИЗМЕ, СОЦИОЛОГИИ И КРИТИКЕ ОБЩЕСТВА

Величайшая популярность социологии в Европе выпала на годы после Второй мировой войны, и это совпало с эрозией марксизма в результате моральной дискредитации его связи с тиранией и его интеллектуальной недостаточности при обращении с историей последних трех десятилетий. Энергичные молодые люди, которые увлекались или могли бы увлечься марксизмом, обратились к социологии. Неудача марксизма в удовлетворении запросов и готовность заменить его социологией говорят о стремлении войти в серьезный контакт с современным обществом и о способности социологии дать критическую самооценку этого общества. Притягательность марксизма и вдохновлявшей им социологии крылась отчасти в его критической установке, отчасти в его чисто познавательной силе, в его масштабности и дифференцированности, в его размахе. Он помогал локализовать «я» в его эпохе и обществе на самой крупной карте, доступной тогдашнему разуму. Он давал стандарт для критики этого общества и собственного поведения в нем. Социология продолжает обе эти темы. В конце концов, она

выросла отчасти из тех же источников, что и марксизм; и как современница марксизма она была конкурирующей реакцией на то же томление духа. Марксизм не смог удержать воображение морально чувствительных и умных молодых людей, потому что его политические импликации стали слишком ригидными и упрощенными и потому что его нынешнее воплощение и главные глашатаи слишком явно противоречили его непреходящим критическим диспозициям.

Как в своей теории, так и в своих конкретных анализах социология, в противоположность марксизму, обладает критическим потенциалом еще и в силу той гибкости, которую придает ей ее имплицитность. Она больше притягивает ум современного интеллектуала той свободой опыта, которую она допускает; она позволяет человеку установить свой личный контакт с реальностью, проверить ее в собственном опыте и критиковать ее так, чтобы это больше воздавало по справедливости, как он ее понимает, этому опыту. Это в особенности касается конкретных социологических исследований на отдельные темы.

Можно ли сказать то же о социологической теории? Будет ли теория, не являющаяся всего лишь теорией *нынешнего западного* общества, столь же привлекательной для тех, кто желает установить контакт со своим обществом и реалистически критиковать его? Социологическая теория в сегодняшнем ее виде есть в слишком высокой степени абстракция понятий, которые были созданы в историческом контексте второй половины европейского XIX в. и отчасти расширены ассимиляцией опыта Соединенных Штатов XX в. Как таковая, она имеет возможность, часто реализуемую, высвечивать основные тенденции нынешнего и недавнего общества. Это своего рода краткое описание основных особенностей «современного общества» со случайными расширениями на незападные и несовременные общества. Цель общей теории – стать подлинно универсальной и трансисторичной, и в принципе нет ничего, что могло бы помешать ей в достижении этой цели. Если социологическая теория обретет общность и дифференциацию, делающую ее равно применимой ко всем обществам прошлого и настоящего, то сохранит ли она еще тот потенциал критики и самолокализации, который делает ее сегодня столь привлекательной?

Что касается первого, то вполне может оказаться так, что чем более подлинно *общими* и абстрактными будут положения социологии, тем меньше они будут содержать подлинно критической реакции на любую текущую ситуацию. Критика, являющаяся

не просто угрюмым отчаянием по поводу удела человека, всегда партикулярна и конкретна. Она направлена против отдельных лиц, особых классов лиц и особых институтов; она о вещах, существующих *в настоящем* и имеющих перспективу *исчезнуть в будущем*. Термины, специфически обозначающие такие условия, довольно конкретны, во всяком случае конкретнее того абстрактного языка, который скорее всего использовала бы хорошо фундированная социология универсального плана. Ключевые слова, имеющие решающее значение в критике общества, не только имеют относительно частную референцию; им также присуща тоналность, которую они разделяют с текущими мнениями и которую они теряют, когда заменяются терминами более общими, более исторически и территориально включительными.

Эти замечания относятся только к общей теории социологического анализа. Они неприменимы к теории «средних принципов». Последний вид теории, несомненно, все еще будет существовать даже в условиях более высоких теоретических достижений. Между этими двумя видами теории нет никакой неизбежной несовместимости; во всяком случае, они будут, как они уже и сейчас делают в их нынешних очень несовершенных формах, взаимно пересекаться и переплетаться друг с другом.

«Теории среднего диапазона» будут инструментами существенного для социологии критического воззрения. В своей функции критики любого текущего общества марксизм будет замещен средними принципами, а не общей социологической теорией. По мере того как теории «среднего диапазона» будут становиться более общими и абстрактными, критический элемент будет ослабевать и становиться более генерализированным. Элемент этической, или моральной ориентации всегда будет сохраняться благодаря фундаментальным категориям интеллектуальной ориентации, интегральным для социологии; но он будет находиться в такой же связи с конкретной критической диспозицией, в какой серьезный публицистический анализ находится с моральной и политической философией.

А как же с ценностью социологии как самопознания, как «нахождения себя», которая так тесно связана с критической функцией социологической теории? Будет работать схожий процесс. Социологическая теория, становясь более абстрактной и общей, будет более значимой как нахождение человека вообще. Ее ценность в нахождении места для частных и более конкретных, исторически единичных вариантов человеческих возможностей

будет убывать по мере того, как она будет переключать внимание на детерминанты человеческих возможностей в более универсальном масштабе. Тогда она даст инструмент для того рода самоопределения, который дает «философская антропология», – более дифференцированного и менее расплывчатого, чем допускается в настоящее время этим значительным интеллектуальным достижением.

[D] *Социология, традиция, авторитет*

Критический потенциал социологии пред лицом традиции и авторитета исходит из более серьезного источника, чем просто бунтарский дух или антиномизм. Потребности человека в мифотворчестве слишком велики, а его раздражение авторитетом слишком выражено, чтобы он был способен изображать вещи так, как они предстают наблюдателю, наученному дисциплиной и опытом видеть некоторые важные события сочувственно и при этом без тех страстей, которые они будят в людях неподготовленных. Несмотря на контртенденции филистерства, в нем сильны склонности к преображению, прославлению или очернению. Некоторые люди немалую часть времени, другие какую-то часть должны быть охвачены благоговением или святотатством. Те, у кого есть власть над другими, вынуждены рисовать себе картину своих подчиненных, и она почти всегда расходится с фактами. Тех, кто подчиняется авторитету, охватывает схожее неудержимое влечение искажать и запутывать, обусловленное самоуничжительной покорностью или resentment. Естественно, есть большие вариации в способностях агентов и пациентов власти верно воспринимать реальность, в которой они живут, так же как у всех людей, как бы они ни были дисциплинированы, возникают трудности в понимании себя и других. Оправданием социологии, когда она оказывается на высоте, служит то, что она стремится впитать и развить наилучшее понимание, какое люди могут приобрести в ходе своего рассудительного и сочувственного столкновения с жизненными задачами. Чем бы ни была социология еще, это культивация отстраненного взгляда. Отстраненность, не ценящая привязанность к священным объектам, была бы для социологии даже хуже, чем бесполезной; социология должна работать с категориями, справедливыми к этим привязанностям. Эта эмпатическая отстраненность неизбежно удерживает социологию, как бы консенсуальна она ни была в своих основаниях, в не вполне совершенном консенсусе со значи-

тельной частью человеческого рода. Она ставит социологию в несколько напряженные отношения с верующими частями человечества и с теми, кто пользуется авторитетом или к нему восприимчив.

Не то чтобы социология вызывает раздражение своей отстраненностью от того, что люди считают священным в мире и в своей жизни; скорее ее результаты должны когнитивно расходиться с тем, что многие из лучших людских умов и душ могут произвести. Именно отход от установленного видения авторитета и традиции порождает некоторую меру обособленности социологии от остальной культуры и несущих ее институтов. Какая-то часть этого напряжения в наше время исторически случайна. Это наследие былых напряжений между традициями, приведшими социологию к ее нынешнему состоянию, и верованиями, против которых предшественникам социологии некогда довелось выступать. Часть нынешней диспозиции против традиции и авторитета – результат исторической причастности социологии к традиции интеллектуального развития, куда более широкой, чем социология; другая часть присуща социологическому предприятию как таковому.

Вполне резонно ожидать, что исторически случайная часть напряжения в ближайшие десятилетия уйдет или сократится. Она связана с той фазой и тем воззрением социологии, которые привели к обозначению ее как «оппозиционной науки». По мере того как на передний план выходит более сочувственная, или по крайней мере более открытая к конституции общества ориентация, этот фактор будет ослабевать. Более того, можно законно ожидать, что риторика и настрой социологии станут более участливыми и меньше подвижными горечью и разочарованием рационализма, созерцающего бедный человеческий род. Это тоже поможет сократить лишние источники напряжения.

Может ли социология когда-либо перестать быть неявной критикой традиционных верований и авторитетов? Может ли она когда-либо отбросить свою имплицитную критику тщеславия государей и магии жрецов? Ответ на эти вопросы можно облечь в простую и крайнюю форму: если когда-нибудь придет час и результаты социологического анализа будут – неважно по какой причине – тождественными тому, во что верят взрослые люди в обществе, в котором социология достигнет такого расцвета, то социология больше не будет удерживать дистанцию, или подразумевать хоть какую-то толику недоверия к верованиям и институтам, которые общи большинству людей и от имени которых выступают авторитеты. Это состояние вряд ли когда-то возникнет; таковы уж

природа людей и природа любой концентрированной интеллектуальной деятельности. Социологическое предприятие лишилось бы всякого смысла, если бы социология не могла каким-то образом выходить за пределы знания, приносимого широчайшим человеческим опытом и самым разборчивым просеиванием традиции. Даже сейчас, когда социология еще остается довольно жалким предметом, полным предрассудков и смутных понятий, в своих высших проявлениях она весьма впечатляюще конкурирует с лучшим, что могут дать трезвая рассудительность и зрелая мудрость эпохи. Нет причин думать, что она не сможет, исходя из природы вещей, делать это лучше в будущем. Если даже обыденное человеческое понимание что-то улучшает – а это вовсе не безнадежная перспектива, – то социологический анализ, по мере того как лучшие его традиции будут консолидироваться и он привлечет лучшие умы к их культивированию, скорее всего будет делать это на порядки лучше.

Следовательно, пока существует этот разрыв, наблюдения, прозрения и обобщения социологии будут неизбежно утверждать, что вещи не то, чем они кажутся. Они будут ставить под вопрос основания, на которые люди ссылаются для оправдания своего поведения. Они будут развертывать образ мира, отличающийся в некоторых важных отношениях от того, что видит обычный и даже очень умственно развитый человек-несоциолог. Какие-то из этих разоблачительных прозрений будут усваиваться многими людьми, и разрыв тем самым будет сокращаться.

Разрыв, однако, останется. Если кто-то, как я, считает, что авторитет – пользование им, подчинение ему или очарованность им – есть одна из самых беспокоящих вещей во всем человеческом опыте, если он считает, что авторитет выключает разум, воздействует на сокровенный образ самого себя, человека и мира, то само различие между состояниями ума, вызванными привязанностью к авторитету или отвращением от него, и отстраненными и беспристрастными состояниями сознания, порождаемыми осуществлением социологического анализа, означает почти неизбежное сохранение разных образов человека, мира и авторитетного «я».

Социология может и почти наверняка будет избавлять себя от квази-марксистского, популистского, рационалистического антиавторитаризма и от той слепоты к природе и функционированию традиции, которую она унаследовала. От этого она, в целом, значительно выиграет. В этом случае она также найдет идиому, как уже нашла себе аналитические категории, которая сможет дать

выражение более тесному чувству сродства с теми, кто осуществляет авторитет или просто получает традиционные верования. В основе своей, однако, проблема, стоящая перед социологией здесь, – это проблема ее связи с религией, ибо авторитет и традиция по существу, хотя и не всецело, религиозные явления. Они – религиозные явления в том смысле, что претендуют на достоверность посредством воплощения чего-то предельно, неустранимо и трансцендентно важного или через контакт с ним. Они содержат жизненно важное и соприкасаются с источником жизненного важного. В авторитете и традиции заключено много больше, чем этот религиозный элемент – целесообразность, удобство, тупое послушание, тщеславная самооценка, – но ничто из этого не было бы глубинной силой в мире, каким он был до сих пор и продолжает быть, если бы не воздействие этого чувства чего-то предельно важного. Пропасть между социологическим анализом и религиозной верой, будь то теологическая, политическая или традиционная, кажется неустранимой – и вполне может остаться постоянной пропастью.

У социологического анализа есть еще шаги, которые он мог бы сделать в оценке религиозных явлений и разнообразия их манифестаций. Социологи могут стать в гораздо большей степени религиозно виртуозными, чем они были прежде, если не брать Макса Вебера. Социологи могли бы даже стать подлинно религиозными личностями. Социологический анализ, пока он не выходит за рамки самых общих очертаний его нынешнего фундаментального каркаса, исключает реальность чудес и откровений. В нем ныне нет места для божественного вмешательства в дела человеческие. Это гипотезы, которые он в настоящее время может отбросить. Этот отказ, редко оглашаемый ввиду его самоочевидности, служит барьером между социологическим анализом и религиозным толкованием событий. Социологический анализ может ужиться с рациональным естественным правом и с естественным правом, основанным на теории моральных чувств, но не может ужиться с естественным правом, основанным на религии откровения. Ему не нужно с ним воевать, нет нужды вести с ним полемику, нет нужды считать своей задачей заставить людей признать иллюзорность религиозных верований. Он может сосуществовать с религией, основанной на откровении, но между ними всегда будет пропасть; и у подлинно религиозных личностей, в отличие от просто ретроградных религиозных обывателей, должно присутствовать некоторое осознание социологического отрицания конечных притязаний

религии вообще и любой из великих мировых религий откровения в частности.

То же касается связей между социологическим анализом и воззрением политика, взошедшего на вершину власти, или революционного аутсайдера, озабоченного свержением существующей системы власти и собственным восхождением на трон. Опыт таких восприятий сродни религиозному опыту. Это контакт с весомейшими детерминантами человеческой жизни. Это конфронтация, идущая к порядку, который интригует и возбуждает. Хотя идиома, в которой выступают современные политики и революционеры, не является когнитивной идиомой религии – и это может создавать видимость более легкого устранения разрыва, – этот опыт относится к тому же семейству, что и религиозный опыт. Он выдвигает притязания и оценивает природу и ценность «я» и других так, что это схоже с притязаниями и оценками религиозного опыта. Социологический анализ может пытаться проникнуть в эти состояния сознания с помощью эмпатии, но не может с легкостью аккредитовать их согласно своим стандартам. Социология – это агностицизм визию того порядка бытия, в контакте с которым претендуют быть религии, авторитеты и традиции. Предельными основаниями их валидности являются события, не имеющие для социологии той реальности, какую они имеют для тех, кто в них верит. Когнитивные притязания последних выходят за рамки того, что социология может признать, к каким бы уровням сопереживания она ни стремилась.

Таковы, стало быть, внешние пределы того, насколько социологическая теория может встроиться в общество, или занять утвердительную позицию по отношению к традиционным верованиям и авторитетам. Развитие социологической теории всего лишь сделает более эксплицитным это фундаментальное различие – так, как не нужно этого делать отдельным эмпирическим исследованиям. Теории среднего диапазона, в силу избегания основоположений, могут войти в более гармоничную связь с мыслями тех, кто принимает традиционные верования или осуществляет или пытается осуществлять власть. Но когда социология восходит – даже в гораздо более религиозном культурном климате – на более высокий уровень абстракции и, тем самым, более открыто прикасается к более основополагающим чертам человеческого существования, для сочувственного беспристрастного разума все же будет оставаться открытой постоянной возможностью социологической критики традиции и авторитета.

[Е] *Прошлое и настоящее*

ЧУВСТВО ПРОШЛОГО

Интерес к прошлому – не просто продукт контакта познавательных сил человека с «запасом» событий, доступных для разыгрывания этих сил, которым случилось произойти в прошлом. Это выражение потребности быть в контакте с прошлым, чувствовать преемственность с ним, быть в его присутствии. Эта потребность – часть потребности в когнитивной карте, которая «локализовывала» бы «я» в мироздании. И даже больше того. Это чувство того, что существующее «я» – только фрагмент или стадия в более широком бытии, которое может быть семейным, этническим, национальным или человеческим. У этого более широкого бытия есть прошлое, которое в такой же степени является его частью, как и что-либо нынешнее. Многие люди верят, что в прошлом содержится ценность, не сводящаяся к тому, чтобы быть родителем настоящего. Конечно, историки изучают прошлое, чтобы понять, почему настоящее такое, какое есть; но они также изучают его (и многих результаты их исследований чаруют), поскольку прошлое для них имеет собственную ценность. Конечно, многие профессиональные историки лишены этого чувства, т.е. его у них не больше, чем у продавцов газет великого журналистского стремления быть в центре важных событий, у многих социологов консенсуальной диспозиции, а у священников живого чувства божественного присутствия. Однако опиралось написание истории на великих историков, у которых это чувство было, и на читателей их трудов, которые в разной степени действуют, находясь под теми же чарами. Даже наименее традиционные общества обладают – при очень неравномерном распределении ее в населении – некоторой привязанностью к прошлому и верой в то, что в нем произошли жизненно важные вещи, представляющие для настоящего огромный интерес.

В целом можно сказать, что ни конкретная эмпирическая социология, ни теоретическая социология не были особо наделены «чувством прошлого». Ни в умственном складе социологов, ни в их оценке обществ, которые они изучали, могущество и очарование прошлого не занимали видного места. Преобладающее истолкование современного общества как отрезанного от традиции дает адекватное свидетельство этой недостаточной ценимости прошлого (*pastness*). Очень необычной особенностью почти всей нынешней социологической литературы является повсеместное отсутст-

вие какого-либо анализа природы и механизмов традиции. Эта лакуна лишь подтверждает нечувствительность социологов к значимости прошлого для других людей и дефицит чувства прошлого у них самих.

«Оппозиционные» традиции социологии, ее дружелюбное отношение к научному духу, ее ассоциация с прогрессивистскими идеями тесно связаны с этой слепотой к традиции. Подпадение под влияние романтизма поощряло обесценение современного общества и вело к идеализации «традиционных» обществ. Тем не менее даже это не поспособствовало анализу традиционных привязанностей, возможно, потому что главное место занимала неприязнь к современному обществу, а традиционность была лишь палкой, с помощью которой можно побить современную собаку. Фундаментальное различие между *Gemeinschaft* и *Gesellschaft*, все еще лежащее в основе значительной части социологического анализа, призывало к более прямому рассмотрению природы традиции и механизмов ее передачи и принятия. Однако оно так и не стало больше чем остаточной категорией, используемой для очерчивания проблематичной картины современного общества.

Нетрудно понять, почему американской, французской и британской социологии удалось избежать этого вопроса. Их эмпиризм, их рационализм и их приверженность просвещенным улучшениям помогают объяснить этот провал. Труднее понять, почему немецкая социология не сделала больше, чем сделала. Глубокое влияние романтизма на немецкую интеллектуальную жизнь и преобладание исторической учености в кругах, в которых вращалась молодая социология, должны были привлечь больше внимания к традиции и традиционной диспозиции. Даже грандиозный анализ традиционного господства у Макса Вебера оставил развитие вопроса недалеко от того места, где он его застал, по крайней мере поскольку речь идет о фундаментальных вещах.

Преодолеет ли развитие социологической теории в будущем этот недостаток? Пока превалирует теория средних принципов и пока основным интересом этой теории остается современное или нынешнее западное – и прежде всего нынешнее американское – общество, эта лакуна вряд ли будет исправлена. Традиционное чувство недостаточно осязаемо в этих ситуациях, чтобы навязать себя используемым ныне техникам исследования, а теория, о которой идет речь, будет работать лишь в матрице конкретного наблюдения.

Поскольку теория средних принципов движется за пределы западных обществ, в африканские и азиатские культуры, более наглядные в своей привязанности к прошлому и своем признании ценности чистой прошлости, то некоторых улучшений можно ожидать. Однако до тех пор, пока фокус сосредоточен на процессе модернизации – как вероятнее всего и бывает, – основное внимание будет уделяться упадку традиции, а не ее сохранению и воспроизводству. Привязанность человечества к прошлому будет, таким образом, оставаться неизученной.

Корни этого недостатка уходят очень глубоко, в самую конституцию нынешней социологии. Невозможно, чтобы она с легкостью нам уступила. Социологические положения по большей части синхронические. Когда они таковыми не являются, это имеет место благодаря интересу к личностной структуре (в основном вдохновленному Фрейдом); и, следовательно, они расширяются в лучшем случае до двухпоколенной связи, проявляющейся в жизненном времени одного поколения. Те, кто находит эту ситуацию интеллектуально неудовлетворительной, прячутся в более некритичный историцизм, добавляя «историю» как остаточный объяснительный фактор.

Прошлости как свойству объекта, индивидуального действия, символа или коллектива в социологической теории еще не отведено места. Так не должно оставаться; и такая коррекция оснований теории действия, которая воздала бы ей должное, не должна быть трудной задачей. Адаптацию более широкой теории будет произвести труднее. Как и многое в общей теории, это будет зависеть не только от дедуктивных способностей, но и от матрицы восприимчивости.

Изучение истории – не терапия, в которой социология нуждается, хотя это важная часть лечения. Социологии нужны не факты о прошлом, а лучшее чувство прошлого и лучшая симпатия к чувству прошлого, проявляющемуся в повседневной жизни и по возвышенным поводам. В вековом *querelle des anciens et modernes*¹ с современной стороны было так много правильного и человеческого, что не хочется критиковать его результаты. Но один из этих результатов – предположительно неустраняемая пропасть между древними и современными. Это родило дизъюнкцию между архаическим и современным, которая совпала со столь же глубокой дизъюнкцией между *Gemeinschaft* и *Gesellschaft*, пришедшей из

¹ «Споре древних и современных» (фр.). – Прим. пер.

совершенно другого источника. Итогом стало искажение природы прошлого и настоящего.

Это вновь подводит нас к феноменам примордиального и священного. Социология не справится с привязанностью человека к прошлому и, стало быть, с одной из самых массивных детерминант преемственности и стабильности всякого общественного порядка, пока не приобретет лучшую, более эмпатическую связь с феноменами возраста, родства и религии. Именно здесь унаследованная концепция современного общества имела катастрофические результаты. Понятие общества, жестко отрезанного от прошлого человеческого опыта, — индивидуированного общества, в котором семья съежилась до своего нуклеарного минимума и в котором «секуляризм» стал универсальным и всепроникающим, — есть преувеличение некоторых тенденций в современном обществе. Но как набор средних принципов для интерпретации общества оно раскрывает нам наилучшие аргументы против притязаний тех, кто помещает теорию средних принципов столь высоко в нынешней повестке социологии. До тех пор, пока эти средние принципы ограничивают мысль своим эксплицитным каркасом, социологическому анализу будет удаваться избежать признания невероятности своего описания современного общества. Развитие общей социологической теории приведет социологов к большему осознанию того, что люди таковы, каковы они есть, и, следовательно, историзм, заключенный в доктрине самодостаточных средних принципов, преувеличивает и абсолютизирует некоторые тенденции современного западного общества, которые никогда не могут исполниться полностью.

Мифостроительство, порождаемое привязанностью к прошлому, космологические построения, возникающие из потребности локализовать и объективировать священное, морально иррациональные и отвратительные эманации, проистекающие из привязанности к примордиальным свойствам объектов, — все это идет вразрез с агностическими, индивидуалистическими, либеральными, гуманистическими постулатами социологии. Образованному социологу трудно, а подчас и невозможно полностью разделить эти образы и привязанности. Они противоречат его лучшим традициям. И он должен, вместе с тем, подойти к ним ближе, чем до сих пор это делал. Он должен как минимум настолько близко к ним подойти, чтобы разглядеть и оценить их ответственность в жизни тех, кто считает их реальными.

Признавать мифогенные склонности человека, не веря в буквальную, когнитивную истинность мифических образов; оценивать по достоинству склонность человека привязываться преобладающим образом к прошлому своего коллектива, не разделяя этой привязанности; ценить достижение и воспитание моральной, интеллектуальной и эстетической индивидуальности, понимая, насколько редко это бывает в человеческой истории, — эти и другие, столь же настоятельные задачи лежат тяжелым бременем на сегодняшних и будущих социологах. Полный консенсус с теми, кого мы изучаем, принес бы с собой прекращение нашей социологической деятельности; неадекватный консенсус обречет эту деятельность на интеллектуальную ничтожность. Общая социологическая теория, обретающая ныне форму, делает возможным большее приближение к этому оптимальному консенсусу исследователя и исследуемых. Но прежде чем она сможет это сделать, она потребует своей переформулировки, а для этого потребуются соответствующее обогащение восприимчивости.

СОЦИОЛОГИЯ И АКТУАЛЬНОЕ НАСТОЯЩЕЕ

Прошлое живет в нас, но мы живем в настоящем. Настоящее — это опыт. Это момент ощущения; все остальное память или предвосхищение. В культуре, в которой ценятся опыт и ощущение, ценится также и актуальное настоящее (*contemporaneity*). Актуальное настоящее обретает собственную ценность, независимую, но производную от ощущения и опыта. Бытие на высоте сегодняшнего дня в знании, в связях, неутрачивание контакта с надвигающимися поколениями, родившимися после своего собственного, ощущения расширенного «я» — все это ценно само по себе.

Потребность человека в конвивиальности — не просто потребность в кооперации или защите; это не просто потребность в «компании» или ответ на угрозу одиночества. Наша конвивиальная потребность выходит за рамки личных отношений, за рамки приободряющего присутствия других людей, любимых или приятных. Мы испытываем потребность быть членами более широкого общества, чем наши собственные ассоциации и контакты, — и на иных основаниях, нежели экологические, экономические или какие-то иные функциональных основания. Есть потребность быть в контакте с людьми и событиями. Это часть того, что Аристотель имел в виду, когда говорил, что человек — «политическое животное».

Рост консенсуальности в нынешнем западном обществе принес с собой эту возросшую потребность в со-временности (contemporaneity). Заслуга и мотив нынешней социологии состоит в том, что это орган потребности в такой со-временности. Практика социологического исследования и принятие его результатов в равной мере удовлетворяют эту потребность. Чем более абстрактной и общей становится социология, тем меньше она удовлетворяет эту потребность непосредственно. Общая социологическая теория, если не брать ее интеллектуальные достоинства и удовольствие от интеллектуальной работы, которое она приносит, оставляет неудовлетворенной эту потребность в со-временности – по крайней мере в той степени, в какой она поистине обща и трансисторична.

Было бы настоящей потерей для нашей культурной жизни и крахом нашего морального существования, если бы социология сосредоточилась исключительно на построении общей теории, какой бы научной она ни была. Диагностика эпохи, *Zeitdiagnostik*, всегда заботила моральных и эстетически чувствительных людей, сознающих течение времени. *Zeitdiagnostik* – коей наша эпоха приносит столь много меланхолических и смешных примеров – всегда была средством критики современников и в то же время пребывания с ними в контакте. Почти всегда, за исключением довольно короткого отрезка времени от XVII до XIX в. и в ограниченных ареалах, она была средством принижения настоящего и поминок по прошлому. Вместе с тем она всегда свидетельствовала об остроте ощущения современной жизни и о потребности дать ему выражение. Историзм точно соответствовал этой потребности, и это остается одним из оснований его сохранения.

Общая социологическая теория отворачивается от этой увлеченности настоящим. Она делает это, однако, только в своей логической структуре и в своей интенции. Ее функция не обязательно настолько неудовлетворяющая для потребности в контакте с настоящим. До тех пор, пока она способна к эвокации – т.е. выражает и возбуждает свежую восприимчивость к частным событиям, которые уполномочена объяснять, – она будет держать наши умы открытыми к настоящему и делать его для нас значимым. Как только общая социологическая теория вполне установится и перестанет быть смесью ярких сиюминутных постижений настоящего с общими категориями и гипотезами, в ней станет меньше замены диагностики эпохи, чем сегодня. Она будет удовлетворять другую потребность. Карты, которые нам нужны, должны быть картами, схематично рисующими мир, в котором мы занимаем какое-то по-

ложение; но самим картам нужно интеллектуальное размещение на более широкой трансконтинентальной карте. За это общая социологическая теория и отвечает.

[F] *Социология и рост «более широкого сознания»*

Современное западное общество в нынешней мировой прессе не в чести. Его имя запятнано не только среди интеллектуалов или тех, кто хвалит коммунистические общества или мудрость Востока. Подростковая делинквентность и преступность приходят на ум тем, кто никогда не слышал о «болезнях» массового общества. Безверие эпохи живет на устах у тех плохо образованных священников, что ораторствуют в пустых церквях, и у тех фанатиков, что не выступают ни в какой церкви, но подстрекают западные общества к более активному сопротивлению коммунистическому фанатизму. Упадок морали, атомизация, безлюбие, разрыв с прошлым, одиночество человека – вот ходовые монеты в подточенной инфляцией интеллектуальной валюте.

На самом деле не все так плохо, как изображают. Нынешние западные общества – определенно не полностью интегрированные общества. Само понятие полной интеграции – это и очень нежелательное состояние, и нечто совершенно невозможное. Но следует также сказать, что нынешние западные общества, при всех тех недостатках, которые распознаются чувствительным моральным сознанием и обостренным социологическим взглядом, вероятно, более достойно интегрированы, чем любые общества, предшествовавшие им в мировой истории, или современные им общества в других частях земного шара. Они более интегрированы в том смысле, что есть больше взаимного осознания, больше восприятия других, более образно насыщенная эмпатия к состояниям сознания и мотивациям других, больше товарищеского чувства. Как иначе объяснить все еще небольшое, но при этом реальное и растущее уважение к правам негров, африканских и американских, возросшую чуткость к человеческим притязаниям женщин и детей – по сути, саму идею государства благосостояния и право каждого ничтожнейшего из нас на такое счастье, какое только возможно в этой юдоли слез? Здесь явлен новый этап в существовании человека, когда консенсус держится на индивидуальности и на узах, которые могут существовать между индивидуальностями; и это не консенсус, исходящий из отсутствия индивидуальности и ломающий первые же ее проявления. Это консенсус, выстраивающийся

из аффективных уз восприятия одним индивидом индивидуальности другого, из цивильности, которая воспринимает саму человечность другого и привязывается к ней, из чувства национальности, воспринимающего в другом элемент разделяемой территориальности. Хотя это лучше того, что было раньше, всего этого пока довольно мало. Разницу между тем, что есть, и тем, что должно быть, больно видеть – отчасти потому, что наши стандарты должного выросли и стали более требовательны.

Прогресс человечества к более либеральному, более рациональному, более человеческому консенсусу происходит медленно, и восхождение к нему еще только начинается. Каждый шаг вперед сталкивает с новой опасностью. Каждая новая добродетель, делающая его возможным, может очень легко превращаться в порок, разрушающий его. Восприимчивость к душевному состоянию другого может стать злонамеренно назойливым разрушением приватности. Любовь может превратиться в тиранию, а затем в ненависть. Чувство национальности может стать чудовищной эксклюзивией. Цивильность может стать надменным пуризмом, безжалостным к мелким прегрешениям и злобным в отношении маленьких удовольствий.

И все же, несмотря ни на что, движение вперед реально, и у него нет прецедентов в человеческой истории. Социологический анализ, не менее уникальный и не менее лишенный великой подготовительной традиции, – часть этого движения. Без этого движения не было бы социологического анализа, каким мы его знаем. В Античности и в Средние века не было никакой социологии, и не было никакой социологии в великих цивилизациях Азии или в менее внушительных цивилизациях Африки. Были мудрецы, были проницательные наблюдатели, но не было социологов. Были те, кто готовил этот путь, иногда более великие, чем большинство из тех, кто позже этим путем последовал; социология, тем не менее, вещь новая. Можно, не умаляя прошлых достижений человеческого духа, утверждать, что реалистического романа, как он впервые и урывками проявил себя в XVIII в., а затем с большей плотностью в XIX в., изображая форму человеческой жизни и заняв свое место среди высших жанров художественного творчества, не существовало ни в западной античности, ни в Средневековье, что его вовсе не существовало в Индии или Африке или даже в Китае или Японии (хотя в этих странах были приближения к нему). Не умалит человеческого величия в западном прошлом или вне Запада и настаивание на том, что живая, любопытная, эмпатическая оценка

деталей паттерна человеческого действия и связи человека с другими людьми – часть этой новой фазы более тесных, более чутких, более цивилизованных, т.е. более человеческих взаимосвязей в эмерджентно универсальном масштабе.

В этот «рост более широкого сознания», как назвал его Чарльз Хортон Кули, социология плотно вовлечена. Он ее продукт, и она вносит в него вклад не только своим вступлением в действие, но и своими последствиями. По сути, если не брать грядущие интеллектуальные достижения социологии, ее величайшая ценность кроется в ее участии в обогащении сознания, в игре моральных чувств и в расширении диапазона симпатии.

Социология принимает другого человека, как он есть; она пытается выяснить, что он делает, что он думает и чувствует. Она есть признание его права на независимое моральное существование. Попытками узнать о его прошлом, как он его видит и его собственными словами, интервьюируемый партнер, находящийся в центре социологического исследования, вводится в науку как морально значимое существо.

Социологическое исследование – это социальная связь, но она вряд ли может быть отношением любви или дружбы. Отстраненность, которой она требует от исследователя, лишает ее симметрии и спонтанности, нужных для любви. Зачатки личной связи сначала образуются, а затем сдерживаются отстраненностью и ограниченностью времени. В пределах, заданных пылко требуемой первичностью когнитивного элемента в связи между социологом и интервьюируемым, эта связь предлагает возможность открытости умов людей всех типов к другим людям через социолога как посредника¹.

Содержание человеческой жизни растекается вширь, в другие умы и жизни, через посредство социологии. «Более широкое сознание» ширится и углубляется через программу социологии, движущуюся в сторону теории действия. Раньше существовали оппозиционный порыв и тяга к критической оценке. Они еще существуют и всегда неизбежно будут существовать в силу самой природы социологического анализа, пока социология продолжается. Консенсуальный порыв к социологическому исследованию,

¹ Конечно, это опасность для приватности; но диалектика созидания и расширения индивидуальности всегда содержит возможность приватности и риск ее нарушения – две несовместимые вещи, которые взаимозависимы и не могут существовать друг без друга.

между тем, есть нечто новое в мире, и это позитивное добавление к моральному прогрессу человеческого рода.

Консенсуальная ориентация не создавала имеющихся сегодня техник социологического исследования. Она застала многие из них уже готовыми в социальном обследовании, выросшем из разнородных традиций. Традиции политической арифметики, научные и занятые национальным могуществом, и традиции более гуманитарных, если не эгалитарных, обследований черты бедности были существенно обогащены развитием техники включенного наблюдения. Психоанализ внес вклад в расширенное глубинное интервью. Две последние техники, уступающие в научности новейшим процедурам обследования, стали основными источниками углубленной восприимчивости и социологической диспозиции. Техники исследования, получившие развитие под вдохновляющим воздействием экспериментальной психологии, несмотря на свою большую строгость, меньше способствовали становлению социологической ориентации.

В потоке устремленности быть в контакте с людьми есть риски. Более строгие научные техники, дисциплинирующие это рвение, также и в какой-то степени его подавляют. Они определенно сужают его восприимчивость и делают его более поверхностным. С нынешним социальным исследованием соединяется смесь мотивов. Когнитивные, консенсуальные и отчуждающие диспозиции находятся в напряженном равновесии; порой бывает, что первые и последние берут верх над консенсуальными компонентами. Никаких из них избежать нельзя, и любые в отрыве от остальных недостаточны. Задача – найти оптимальное сочетание. В этом сочетании консенсуальный элемент, выраженный в технике исследования, общей ориентации и абстрактной теории, должен занимать центральное место. Только через консенсуальность когнитивный интерес будет обеспечен содержанием, необходимым для его плодотворности. Это положение одинаково применимо и к конкретному исследованию отдельных ситуаций, и к самым абстрактным теоретическим построениям. Культивирование отчуждающего подхода к человеческому действию и его организации в институтах и системах создало бы препоны для *дальнейшего* роста социологии и как познавательного предприятия, и как части жизни своей эпохи. Одно здесь не менее важно, чем другое, и одно незаменимо для другого. Если академическая практика социологии вдруг откажется признать свою укорененность в консенсуальном опыте и вместо этого перенесет упор на манипулятивные и, следо-

вательно, отчуждающие диспозиции, то она осушит источники, питавшие в последнее время ее жизненные силы.

Общая социологическая теория еще не является и, вероятно, какое-то время еще не будет строго дедуктивной теорией. Она все еще базируется – и для истинности своей должна базироваться – на богатой матрице конкретных знаний о многих обществах и многих частях этих обществ. Полный диапазон опыта, необходимый для построения универсально применимой общей теории общества, явно выходит за пределы способностей любого отдельно взятого человека. Никто не смог бы в одиночку провести систематическое исследование или приобрести жизненный опыт, которые должны лежать в основе такого теоретического построения. Оно должно опираться на работу многих людей, и это должна быть конкретная работа, основанная на опыте, полученном из первых рук, и на непосредственном контакте с людьми, коих она касается. Такое исследование должно быть консенсуальным. Обобщение сведений, собранных для административных и коммерческих целей, как бы оно ни было полезно в контексте консенсуально выстроенного исследования, не может произвести обогащенную матрицу восприимчивости, необходимую для направления социологической теории. Организованное манипулятивное исследование, проводимое с помощью техник, взятых из экспериментальной психологии, тоже не может ее произвести – даже если в известных пределах этот тип исследования обладает несомненной познавательной ценностью. Причина, по которой они не могут ее произвести, состоит в том, что они проводятся не в эмпатической среде, последняя же является существенным компонентом консенсуса и может вырасти только из прямого человеческого контакта.

Более точные техники социологического исследования в нынешнем их виде приносят и, вероятно, еще очень долго будут приносить результаты, обладающие неопределенностью без поддержки эмпатически обретенного знания. Фактически большинство проводимых в настоящее время строгих исследований интересны благодаря результатам эмпатии, накапливающимся в их зазорах. Без такого «добавления» эмпатии эти результаты имели бы мало интеллектуальных последствий.

Результаты конкретных социологических исследований были бы бесполезны для построения социологической теории, если бы в них не было этой примеси восприятия, влияющей на направленность ума теоретика. Эта примесь – неартикулированное знание, вырастающее из переживания в опыте других людей, из пе-

реживания их во всей полноте консенсуального контакта. Если бы понятия социологии были совершенно эксплицитными и точными и если бы для управления их разработкой и взаимосоединением можно было установить правила дедукции, то, вероятно, не было бы нужды в этой примитивной зависимости. Но непосредственно на повестке дня прогресса социологической теории такое развитие, по-видимому, не стоит. И пока социология остается социологией, не растворяясь в неврологии или кибернетике, тот факт, что она связана преемственностью с переживанием в опыте людей, будет беспрестанно порождать состояние, когда немалая часть нашего понимания будет располагаться в полутени вокруг зоны, которую мы можем сделать эксплицитной. Даже если человеческие связи и взаимное понимание потеряют какую-то или даже большую часть своей нынешней непрозрачности, всегда будет оставаться зона теней. Это говорится здесь не просто потому, что постулат возможности как постоянного прогресса, так и никогда не завершающегося невежества имеет основополагающее значение для нашего понимания связи между нашими научными усилиями и природой мироздания. Это было бы верно, даже если бы социология перестала быть социологией и стала приложением неврологии и теории информации. До этого дело, вероятно, никогда не дойдет, даже если социология возьмет много полезного из того, чему учат эти отрасли науки и новые, которым еще только предстоит возникнуть. До тех пор, пока социология сохраняет свою нынешнюю частичную автономию, ее теория будет базироваться – хотя, возможно, не так сильно, как в настоящем, – на периодически обновляемой и оживляемой матрице опыта. И до тех пор, пока это так, консенсуальный элемент в социологическом знании будет оставаться незаменимым.

Если – а такое можно представить – человеческие связи станут более свободными и внутреннее одной индивидуальности станет более доступным другой, то конкретные социологические исследования и социологическая теория получают соразмерное приращение. С другой стороны, если произойдет масштабное возрождение этнического трайбализма или пуританства, так что люди обособятся друг от друга или подавят свою индивидуальность, то зачатки консенсуального общества намертво останутся в своем развитии, и едва родившаяся цивилиность человеческого рода сморщится и погибнет. Тогда мы вернемся в разбросанное и иссушенное состояние человечества, существовавшее до нашей эры. Если это произойдет, то социологическая теория, став более изо-

щренной за счет достижений математики и неврологии, вернет свою былую бесплодность в более изощренной форме.

Если этого не произойдет, то богатство опыта всегда будет немного выходить за рамки наших способностей к артикуляции. Наши артикуляции всегда будут стремиться расшириться в зону пока еще не артикулированного. А поиск этого расширения будет требовать такого рода контакта с объектом исследования – даже когда последнее проводится на уровнях высочайшей абстракции, – который может дать только консенсуальность.

Социология постепенно входит в более широкое течение мнений. Она делает это очень неравномерно. По мере того как этот предмет закрепляется в университетах, а более обширные доли населения приходят в университеты или ориентируются на высокую культуру, сформированную университетами (но только не на американский студенческий футбол и не на лодочную гонку Кембриджа – Оксфорда!), социология выходит из состояния академической специальности, которую практикуют и о которой думают только в среде академиков. Она становится частью просвещенного мнения. Она фактически уже начала превращаться в неотъемлемую часть мнения более любопытных и рефлексивных секторов общества. Это просвещенное мнение уже сейчас получает подкрепление от создания корпуса социологической литературы, которую может читать, ценить и даже выискивать образованная публика за пределами университетов.

Социология, не всегда того рода, который питает среду консенсуса и консенсуальную восприимчивость, уже проложила себе дорогу в круги промышленного и административного менеджмента. Можно ожидать, что по мере ее проникновения в медицинскую практику и образование она обретет заметное моральное влияние, а не только внесет вклад в манипуляцию людьми «ради их же собственного блага».

Социология могла бы играть роль, которую играл психоанализ в одной из фаз своего раннего массового принятия. Она могла бы использоваться для «разоблачения» низменных мотивов и дискредитации их носителей. Она могла бы поощрять – как, видимо, она и делает в проблематичной области «мотивационных исследований», – аморальную манипулятивность. Это не более неизбежно, чем желательно. Конкретные исследования, выявляющие мотивации людей и институты, в которых эти мотивации работают, могут сделать описываемых людей и весь иллюстрируемый ими класс ближе к тем, кого они информируют. Читатели и студенческая ау-

дитория конкретной социологии могут быть введены в более эмпатическую, хотя пока еще одностороннюю, связь с их субъектами. Часть человечества, новооткрытая, с должным уважением к индивидуальной приватности (всегда *партикулярной* для индивида), – еще одна возможность для расширения подлинного многостороннего консенсуса. Функция социологии была бы при этом не просто когнитивной, хотя поначалу была бы такой. Конкретная социология, освоившая искусство преподнесения, повышает идентификацию и придает прискорбную убедительность странным поступкам людей, вводя в них свидетельства, идущие из позиции актора.

Распространяя свою деятельность по всей поверхности земного шара, социологи расширяют консенсуальную сеть и укрепляют ее нити так, как редко удавалось сделать литературе о путешествиях, географии или даже социальной антропологии. Наше знание «природы и причин вещей» должно изменить структуру наших связей с людьми, которых мы изучаем, и с видом в целом.

*Пер. с англ. В.Г. Николаева**

(Продолжение следует)

* Николаев Владимир Геннадьевич – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник отдела социологии и социальной психологии Института научной информации по общественным наукам РАН; vnik1968@yandex.ru

Nikolaev Vladimir Gennad'evich – Candidate of Sociological Sciences, Senior Researcher of the Department of Sociology and Social Psychology, Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences; vnik1968@yandex.ru